

Лариса Федорова

НАЗАРКИНА ГОРА



60-летие В. Д. Федорова. Февраль 1978 г.

Нет, это название не сразу появилось в нашей совместной жизни. Сначала — то есть с 1947 года, когда я встретила Василия Федорова в Литературном институте имени Горького и даже оказалась с ним на одной парте, — сначала я слышала от него слово «Марьевка»... Я спросила, откуда он у нас тут появился (то есть сразу на второй курс), и он ответил: «Я — из Марьевки». Я засмеялась, не поверив. Он улыбнулся тоже. «Ну, не

сразу из Марьевки... Но мой путь в литературу именно оттуда. Первые мои стихи я слагал на марьевских лугах, возле речки Яя». Потом он спросил: «А вы где написали свои первые стихи?»

— Я написала их в сорок пятом, в марте, в Венгрии.

Да, это было так. Была там в командировке как стенографистка при пятой воздушной армии 2-го Украинского фронта. Три месяца. А стенографировала я рассказы летчиков о их воздушных боях над Будапештом.

— Здорово! — позавидовал поэт. — А я в Новосибирске собрался на фронт, попрощался с родными, но из военкомата меня вернули.

Наш курс был первым послевоенным. За партами сидели лейтенант Ольга Кожухова, лейтенант Константин Левин, партизан Максим Держора, армеец Георгий Друцкой, Игорь Кобзев — из железнодорожных войск.

Если не считать Расула Гамзатова, то Василий Федоров был единственным на курсе, имеющим свою книгу. Но об этом я узнала позднее — тогда, когда началась наша любовь. Василий был более чем скромн. У нас на курсе все наперебой читали друг перед другом свои стихи, но он не читал. Он слушал других и улыбался. Хоть и приехал по направлению Новосибирского отделения писателей, но долго еще оставался марьевским — застенчивым и... гордым. Другие студенты, получая от месткома ордера на промтовары, умудрялись как-то обменивать их на продукты на ближайшем к институту Палашевском рынке, но Василий Федоров делать этого не умел. Он и ордеров-то не просил ни разу. О том, что он бедствует, я услышала случайно. Наша преподавательница марксизма-ленинизма Слава Владимировна Ширинина обеспокоенно говорила кому-то из своих коллег: «Надо как-то помочь парню, он совершенно непрактичен. У него «Лирическая трилогия» в Новосибирске вышла. Прелесть что за книжка».

Но тоненькая, и деньги, конечно, все давно истрачены. Попробую договориться с одним из журналов насчет консультации».

Что такое «консультация», я знала. В журналы приходило множество стихов, на них требовалось давать обстоятельный ответ. Если стихи хорошие — предложить их редакции; плохие — убедить автора, почему они плохие.

Но не скоро Василий Федоров занялся такой неблагодарной работой. Он берег себя для новых стихов, которые полагалось читать на поэтических семинарах. Мы записались с ним в один и тот же семинар — к Павлу Григорьевичу Антокольскому.

Жил Василий, как все приезжие студенты, в общежитском подвале, который сами поэты за окраску стен прозвали «голубым».

Некоторым студентам нашего курса, таким как Максим Толмачев (ныне лектор общества «Знание»), родные, жившие в деревнях, присылали то сала, то меду...

— А что же тебе, Вася, твоя Марьевка ничего не присылает? — спрашивали иногда «соподвальники» поэта. — Пишешь поэму «Марьевская летопись», а сало где?

И опять он или отшучивался, или вздыхал. Не о сале, конечно, о самой Марьевке. Сала он по болезни желудка никогда не ел.

Поэму о Марьевке, действительно, писал. Как стенографистка, я имела дома машинку, и однажды он попросил меня ее перепечатать.

После тонкой изящной «Лирической трилогии» она показалась мне не то чтобы грубоватой, а как бы не в его ключе, не федоровской... В «Лирической трилогии» речь шла о музыке, о высокой любви, о заводе, преподнесенном очень поэтично... «Марьевская летопись» — о тяжелом труде солдаток и вдов, о запряженных в плуг коровах...

*Она и запряженная
Все пахнет молоком...*

Студенты тоже отнеслись к поэме прохладно, а Павел Григорьевич не скрыл своего разочарования. Но когда поэт написал «Скульптора» и «Незнакомку Крамского» — о нем заговорили громко. Владимир Солоухин, учившийся курсом младше, читал «Скульптора» особенно упоенно:

Он так говорил:

*— Что хочу — облюбую,
А что не хочу — недостойно погони,
Казалось, не глину он мнет голубую,
А душу живую берет он в лагони.*

Стихи стихами, а «Марьевскую летопись» он упорно продолжал дописывать. Пусть она не по душе руководителю семинара, пусть в ней еще не разобрались его друзья-товарищи, такие, как — от земли — Михаил Годенко, как такой же крестьянской закваски прозаик Семен Шуртаков, Владимир Солоухин, — поэму о Марьевке он должен сделать!

А мне говорил: «Понимаешь, я ее обещал самой Марьевке. Был как-то на лугах и поклялся перед рекою. А если дал клятву на Марьевской земле, как же я могу ее не выполнить?!»

В сорок девятом году мы поженились, и он перебрался из «голубого подвала» ко мне в переулок Садовских в семиметровую комнатку при коммунальной квартире... Два поэта на семи метрах? Я поняла сразу, что моя участь как поэтессы решена... Писать стихи будет он, а я перейду на прозу. Тем более, что Константин Георгиевич Паустовский согласился включить меня в свой семинар. Я даже как бы в выигрыше оказалась: побыть в семинаре такого тонкого мастера, как Паустовский, уже счастье. А поэзия? Что же, разве она не рядом со мною? Я стала свидетелем

рождения каждой новой строчки стихов Василия Федорова. И это продолжалось всю мою жизнь, а точнее тридцать семь лет...

Муж тянул меня в Марьевку, но денег на поездку туда еще не было. Зато нам дали творческую командировку на Алтай. Это уже на четвертом курсе. Конечно, сначала мы заехали в Новосибирск, где я познакомилась со своей свекровью Ульяной Наумовной, с сестрами и братьями мужа. Они покорили меня своим радушием, а Новосибирск — красотой, рекою, мостом через нее. Показав все красоты и достопримечательности города, он привел меня в редакцию журнала «Сибирские огни», где уже была напечатана его «Марьевская летопись», познакомил с главным редактором журнала Саввой Елизаровичем Кожевниковым. Тот намекнул ему, что ждет к себе заместителем... Заманчиво. Жить на семи метрах было очень трудно. А тут, конечно, сразу дали бы квартиру. Но я поборола этот соблазн — и в себе и в поэте.

— Я понимаю, что ты сибиряк, но Москва тебе необходима. Вспомни Есенина. Если бы он не приехал в Москву, как и Маяковский и другие поэты, разве бы он стал таким известным? Сейчас у тебя идут хорошие стихи. Вот выйдут книги «Марьевские звезды», потом «Лесные родники»...

— До «Лесных родников» еще далеко. А за «Марьевские звезды» опять же кому спасибо, как не Савве Елизаровичу да Смердову. Меня здесь любят, понимают...

— Наберись терпения, время твое придет.

Да, я в это твердо верила. Верили в него и московские друзья поэты, о которых я говорила выше.

Поездка по Горному Алтаю дала нам обоим хороший творческий заряд. На попутных грузовых машинах мы доехали до Кош-Агача, то есть — до советско-монгольской границы. А это семьсот

километров, если считать от Горно-Алтайска. Автобусы тогда туда не ходили. Но это не показалось нам серьезным препятствием. Чем плохо ехать с разными шоферами, везущими в Монголию товары «Совмонголторга»? А кругом горы, реки шумят, темной стеною кедры высятся. Мы ехали от райцентра до райцентра. Там расплачивались с шофером, спрашивали у местных жителей, где у них Дом культуры, и шли искать заведующего. Потом показывали свои удостоверения студентов Литературного института, командировки и просили вывесить афишу, что сегодня вечером два московских поэта будут читать свои стихи... Нам везло: клуб всегда оказывался полным. Половина выручки нам — на дальнейший проезд и пропитание, другая половина — в пользу клуба. Цены, конечно, самые божеские, чтобы только побольше народу собралось. Чтобы доказать сидящим в зале, что не зря мы ехали по Чуйскому тракту, я читала им совсем свежие стихи об увиденном:

*Дорога скользила то круче, то глаже,
К бортам боязливо прижалась поклажа,
Шофер не боится, шоферу знакома
Крутая дорога у Белого Борма!
Шофер мне поклялся, что лишь на Алтае
Бывает у речек вода голубая,
И, дав с поворота рискованный газ,
Сказал, что докажет мне это сейчас...
...Негромко, о чем-то своем напевая,
Текла по ущелью вода голубая,
И, слушая песню, стоял молчаливо
В воде по колено табун белогривый...*

Поэт, желая развеселить публику, говорил:
— Она сидела в кабине у шофера, потому он ей и клялся. А я даже не сидел в кузове, я стоял у цистерны с бензином... И белогривых коней в

голубой реке я рассмотрел даже лучше, чем из кабины.

— А чего же тогда сам не написал? — реагировал зал.

— Я так скоро не умею. Вот если на будущий год к вам заглянем, может, кое-что и прочитаю...

Скромничал, как всегда. Стихи о горе Белухе, чья вершина горит фосфорическим светом, у него уже были, но он их еще не запомнил и боялся запнуться.

Читать стихи перед залом для него всегда было мучительно. Перед камерами телевидения и совсем нервничал. Но камеры телевидения придут гораздо позднее — лет через двадцать, когда золотистые волосы поэта пробьет седина. А тогда мы беспечно путешествовали на попутных, ночуя в пустых гостиницах, в которых иногда и стекла в рамы еще не были вставлены... Да и время-то было послевоенное, до стекол ли?

Алтай покорял нас все больше. Потом, через годы, мы ездили с поэтом в Крым, на Кавказ, но ни с Крымом, ни с Кавказом не сравнится эта дикая первозданная красота Горного Алтая.

Насчет питания в дороге было туговато. Но зато в одной из чайных, куда подвернул свою машину шофер, мы впервые испробовали сметану сарлыков... Она была такой густоты и жирности, что ложка в стакане колом стояла. Но такая удача была единственный раз. Хорошо, что из Горно-Алтайска мы прихватили головку сыра, флягу с молодым медом и каравай ржаного хлеба. Когда шофер делал перекур — чаще всего возле какой-нибудь речки, чтобы залить воды в радиатор, — мы тоже спускались вниз, отрезали себе и шоферу по ломтю хлеба, по ломтю сыра, поливали все это медом из фляги и запивали чистой холодной водой...

Кош-Агач нас разочаровал. Горы остались позади, а перед нами расстиралась степь без единого деревца... Кош-Агач и обозначало «прощай, де-

рево»... За погранзаставой начиналась Монголия.

Но выступление в районном аймаке, как и было задумано, мы сделали. Народу собралось опять полно. Пришли и пограничники. Пригласили назавтра к себе на заставу, но мы уже договорились с райкомом партии, что поедем в колхоз-миллионер «Мухор Тархата». Пограничники даже обиделись, и мне до сих пор неловко, что мы им отказали. А дело было в том, что поэт устал. Ведь наше путешествие длилось уже неделю. А это большое напряжение — держать внимание зала, потом на другой день ловить попутную машину, договариваться о цене... Годовки сыра уже не было, как не было и меда с караваем хлеба. Всего три года как окончилась война! Рынки в районах были, но мы к ним всегда опаздывали, да и какие у нас деньги? Вот почему пребывание в колхозе-миллионере представлялось нам в виде обетованного рая...

В тот вечер после выступления в Кош-Агаче по путаным его переулкам увязалась за нами чья-то белая лошадь... Луна над степью висит огромная, желтая, тишина какая-то голубая, нездешняя, все давно разошлись по домам, и бродим по аймаку только мы двое да за нами белая лошадь...

— Может, это переодетый шпион? — пошутил поэт, — Не позвонить ли нам пограничникам?

Я подошла к «шпиону» и погладила его добрую морду. Она была теплой. А губы — как бархат.

Утром райкомовцы сказали нам, что была в их распоряжении одна лошадка, но куда-то ушла. Наверное, обратно к табунам Мухор-Тархата: так что придется нам идти до строительства маленькой гидростанции пешком. Станцию строит сам колхоз, там нам и лошадей дадут...

Было 14 августа. Но на вершинах гор, окаймляющих Кош-Агачскую степь, лежал снег... А мы с мужем так легкомысленно одеты! Кто-то из райкомовских ссудил меня шалью, теплыми чул-

ками, Васе дали теплый шарф. Он тут же обмотал им голову, потому что подул сильный ветер. А идти километров пять...

— Вот если б ты вчера согласился выступить у пограничников, разве они не дали бы нам машины? — корила я Василия. А еще: нам очень хотелось есть. Утром мы, конечно, позавтракали. Но слегка. Потому что добрая женщина, давшая мне шаль, наказывала: «Теленгиты удивительно гостеприимны и обижаются, если у них не едят. Так что не вздумайте отказаться. Но когда войдете в аул, то скажите: «Якши», вам ответят «якши», а вы на это «якши бай якши» — то есть пусть тебе хорошо и твоему скоту хорошо будет. Они же все скотоводы! Вот тогда вам такой прием устроят, такой прием!»

На гидростанции оказалась только одна лошадь. Да, та самая, белая — вчерашний «шпион»... А ехать до правления колхоза десять километров. «Это совсем рядом, — сказали нам теленгиты-строители». Ничего себе рядом! Да еще вдвоем на одной бедной лошаденке! Я в седле, а мой позт на лошадином крупе, с которого он все время соскальзывал... Удивляюсь, как она его не лягала! Ну наверное потому, что все-таки вчера познакомились, гладили ее, разговаривали с ней... Даже стихи читали! Довезла! Но, когда с нее слезли, громко и облегченно вздохнула.

А теперь представьте наше разочарование. Правление на месте, председатель перед нами, а весь поселок пуст... «Все на пастбище, — объяснил председатель, — это недалеко, можно съездить».

Кому же мы будем говорить тут «якши» и «якши бай якши»?

Дали вторую лошадь, поехали. Есть хотим — умираем. Но кругом степь. Наконец маленькое пастбище. Козы-мериносы. Входим с председателем в юрту, говорим как заклинание «якши» и «якши бай якши» и слышим в ответ «здрав-

ствуйте»... Никто не догадывается, что мы голодны. Приносят только водку из овечьей сыворотки. В эмалированном чайнике. И наливают по эмалированной кружке... Переглянулись мы с мужем и... вышили! Может, думаем, закусить дадут. А у них, оказывается, не закусывают...

Как мы голодны ни были, а нас это развеселило. Села я на своего коня, стегнула его и умчалась куда глаза глядят.

Председатель спрашивает Василия:

— Куда это она?

А тот смеется, «не знаю» — говорит. Потом спрашивает: «Скоро ли будет следующая юрта?» Оказывается, еще через десять километров. Там пасли овец. Множество овец. Мне показалось, что ими степь заполнена до самого горизонта. И все белые овцы. Как и козы.

В той юрте нам повезло. На кошке сидел секретарь райкома партии — в черной косоворотке с белыми пуговицами, стройный человек, похожий чем-то на кавалериста. Лицо у него было очень тонкое, как на старинной фреске. Тонкое и умное. Да и не трудно было догадаться, что мы голодны. Так и уставились на досторхан, где лежали вяленое мясо и овечьи сыры...

— Садитесь, пожалуйста! Я второй день по пастбищам езжу. А вы откуда?

После этой поездки Василий Федоров напечатал в «Крестьянке» очерк о знатных скотоводах Мухор-Тархата, а я написала два рассказа: «Обычай» и «Завистник». Последний о том, как старик, пасущий обычных коз, решил ночью подменить козлят у именитой ангорской козы, купленной за большие деньги в Турции... Старик очень завидовал, что у соседей белые шелковистые козы, с дорогой шерстью, а у них в колхозе самые обычные. Для колхоза старался, не для себя.

Этот рассказ был отмечен К. Г. Паустовским как большая моя удача.

В 1969 году, в двадцатилетие нашей супру-

жеской жизни, мы собирались совершить как бы юбилейную поездку по прежнему маршруту, но Марьевка переборолла!

— Ладно, бог с ним, с Горным Алтаем! — сказал Василий. — Вдруг да разочаруемся в чем-нибудь. Пусть останется в нашей памяти как нечто романтическое и неповторимое... У Марьевки свои прелести... Вспомни, как ты ее увидела в первый раз!

Да. Эту поездку я запомнила до мельчайших подробностей. И сколько бы раз мы ни приезжали потом — в памяти все-таки оставалась та, первая, Марьевка, до странности чем-то схожая с поездкой по Алтаю. Я долго думала — чем схожая? И поняла...

На станцию Яя мы приехали рано-рано утром.

*Поезд замер и бросил ключ свой,
Я шутливо сказал жене:
«Мы приехали, Ваше Лиричество,
Чемоданчик доверьте мне».*

Никто нас не встречал. Мы и телеграммы о своем приезде дяде Василию — брату моей свекрови — не давали. Зачем людей тревожить? Доберемся!

Середина июня. Поэт спешил к некошеным лугам, обещая мне море огоньков и незабудок. О речке Яя с ее пескариными перекатами, с ее чистыми намывными пляжами из «евпаторийского» песка столько было говорено в Москве, что я эту речку несколько раз во сне видела. А от полевой клубники, мнилось мне, красны все косогоры. А бурундуки в березовых колках такие умные, такие доверчивые, что угощение чуть ли не из рук человека берут...

Станция Яя — маленькая, как две капли воды похожа на все другие станции Великого Сибирского пути, если только они не узловые. Поселок того же названия начинался не сразу; чувство-

валось, земли здесь не меряные, на пустыри строители поселка не скупались... Улица длинная-предлинная. Это та улица, по которой на Марьевку ехать. Но мы шли пешком. Не было еще у поэта влиятельных знакомств в райкоме партии и в райисполкоме, знакомств, дающих право попросить машину... Все это пришло потом, через несколько лет, пришло само собой и очень естественно, когда поставили на Назаркиной горе дом и зачистили на кузбасскую землю каждое лето.

Да, улица, которой мы шли, была предлинной и сплошь из деревянных домов.

*Трехоконная Россия
Тихо смотрит на меня,—*

писала я потом в одном из своих стихотворений по пути в село Константиново Рязанской области... Тогда мы с Василием Дмитриевичем, уже известным поэтом и даже лауреатом, ездили вместе с другими писателями на открытие памятника Сергею Есенину.

Так вот, вспоминая первое впечатление от райцентра Яя, скажу, что «трехоконная Россия» была везде одинаковой — что на Рязанщине, что в Кузбассе... Облик города с неповторимыми чертами индивидуальности появится потом — где-то в начале семидесятых. Поднимутся каменные многоквартирные дома, Дом культуры, стеклянный куб главпочтамта, ресторан «Волна», и далеко в поле, далеко от города и особенно станции, воздвигнут корпус районной больницы. Поскольку потом приходилось Василию раза два лечиться в больнице, кстати, у прекрасных опытных врачей, то добавлю: узнать бы, кто это придумал изгонять такое необходимое учреждение из города, да еще на болотистое место со ржавой водой... Тут уж во мне заговорил дух бывшей журналистки.

— Сколько же километров до твоей Марьевки? — спросила я в конце улицы.

— Да что-то около двенадцати. А может, и пятнадцать... Устала? Погоди, не нагонит ли нас какая машина. А то и лошадка с телегой. Попро-симся — подвезут, у нас народ добрый.

Раннее утро влажно дышало нам в разгоря-ченные лица свежестью начавшихся полей и бе-резовых рощ. Разноголосо защебетали птицы. Это придало нам бодрости. Воздух такой легкий — не надыхаться! И все-таки с непривычки я устала. Зачем я поехала в этих туфлях на каблуках? И, как назло, ни попутной машины, ни телеги... И туман никак не рассеивается!

За Ольговкой — небольшой деревенькой, стоя-щей как раз на полпути к Марьевке, — когда ми-новали ее великолепную березовую рощу и на-чались кустарники, вдруг зазвенели колокольчики. Из тумана зазвенели — так таинственно, так неж-но... Мы разом остановились, поставив чемодан на обочине дороги.

— Разуйся, — сказал мне муж. — Говорят, по росе ходить полезно. Дорога тут полевая, хоро-шая, лесных корней нет, она тебе больно не сде-лает.

Из тумана послышалось что-то таинствен-ное — не то шевеление больших тел, не то вздохи. Опять подал голос колокольчик. Мы стали вгля-дываться в левую сторону дороги и... поверх ту-мана увидели конские головы. Они как бы ныряли в молочную непроглядность тумана и вновь вы-ныривали... Ни туловища, ни ног — только лоша-диные шеи и головы.

— Прекрасно! — воскликнул Вася. — Ну где ты это можешь еще увидеть?! Сказка!

В Марьевку мы пришли часов в восемь. Со стороны дороги ее надежно прикрывали белые рощи, правда, не по всей длине улиц. Но тогда за огородами и за большой дорогой, по которой можно ехать на Томск, сразу начинались поля. На холме перед въездом в деревню в густом осин-нике кладбище.



В. Д. Федоров среди родных. 1937 г. Во втором ряду слева направо: брат Иван, мать Ульяна Наумовна, Василий Федоров, за ним стоят сестры Татьяна и Зинаида.

— Где похоронен твой отец? — спросила я. — Может, зайдём поклонимся?

— Он в Анжерке. От тифа в Анжерской больнице умер.

Улица была пустынная, только что прогнали на малые лужки коров, и над дорогой ещё не улеглась пыль. Марьевка стояла на высокой гряде. В сторону реки только огороды. Жаль. Я представляла иначе — ведь это так красиво, если окна смотрят в дали и на речку. Улица достаточно широка и даже с зелеными лужайками.

— Где же дом твоего дяди?

— Это на задах, возле конного двора. Но мы сначала к озеру спустимся, я искупаюсь.

— Как — сразу, с чемоданами?

— Это мой ритуал. Я должен как бы очиститься от всей скверны, что накопил в себе за время моего отсутствия.

Озеро, естественно, под горою. Тут же сразу и луга начинаются. А та гора, что над озером возвышается, называлась Назаркиной... Могла ли я предвидеть, что почти через двадцать лет мы поставим на горе дом и пятнадцать лет — из года в год, ни единойжды не пропустив срока, будем приезжать сюда как хозяева Назаркиной горы?

В рамке цветущих боярышника и шиповника озеро выглядело неплохо. Желтые и белые кувшинки качнулись на зеркале воды, когда поэт медленно стал входить в озеро, идя на глубину, пока оно не сомкнулось над его золотистым чубом...

Из рассказов мужа я знала, что после смерти отца семье приходилось туго. Помогали старшие братья, жившие один в Томске, другой в Красноярске — Андрей и Петр, оба на больших партийных постах. Помогала старшая сестра Татьяна Дмитриевна — политотдельский работник в Анжерке. Это к ней с каким-то поручением от матери поехал однажды будущий поэт на федоровской Рыжухе, попал в пургу и не замерз только потому, что лошадь вывезла сани в деревню Судженку и остановилась, заржав, у чьих-то ворот...

Знала, что десятилетним он пас овец на лугу, пас до глубокой осени, когда уже начинали лететь белые мухи, и он коченел в своей легкой одежке... С той поры у него всегда, даже в тепле, мерзли ноги и руки.

Когда минуло ему пятнадцать, его, комсомольца, поставили помощником бригадира к Антону Максимовичу — человеку в Марьевке почтенному. И когда осенью подъехала к федоровским воротам телега, высоко нагруженная мешками с заработанной пшеницей, Ульяна Наумовна не сдержала радостных слез... Это был первый заработок сына в колхозе. Стихи он тогда уже писал. Но — тайно. И умудрялся прятать их от матери (вдруг подумает, что не делом занимается!) — в закрома с золотой пшеницей... Он почему-



Пятнадцатилетний В. Федоров, работавший в это время помощником бригадира в колхозе. 1933 г.

то и позднее, когда жил в Новосибирске у сестры, обучаясь в авиационном техникуме, стыдился перед матерью и сестрою своего призвания. В новосибирской квартире в ванной комнате — как ванная она бездействовала — стояла бочка из-под квашеной капусты. Капусту квасили в другой, а в эту поэт, слагавший стихи по ночам на кухне, — в эту бочку он их складывал... «До лучших времен», — объяснил он сестре.

Сидя на берегу среди желтых одуванчиков, я с завистью смотрела, как переплыл Вася на другую, луговую, сторону озера, ходил там по ковру незабудок. Сорвав несколько цветочков, переплыл обратно и вручил их мне. А не купалась я потому, что дно озера показалось мне вязким, да и кувшинок у берега много росло — сразу не поплывешь, за ноги цепляться станут. Я выросла на озере, где купанье было отличным. Но до моего родного села надо было бы ехать более суток обратно на запад — до Тюмени. И там еще семьдесят километров в сторону...

— Ну, как тебе Марьевка? — спросил Василий, одеваясь.

— Мое село, конечно, лучше. Фабричное село. И фабрика писчебумажная, что уже говорит о культуре.

— Культуру в родное село самим привносить надо, не надеясь на писчебумажные фабрики! — отпарировал он. — Как же ты не оценила место расположения Марьевки? Я же об этом стихи написал — о переселенцах из России.

*Дед взошел на Марьевские кручи,
Он сказал: «Судьба!» —
Да так и стало.*

Когда шли к дяде Василию, навстречу нам попадались многие марьевцы и муж мой всех узнавал, здоровался и представлял меня.

— Вот и славно, что привез, а без жены на родину ездить не дело. Пусть привыкает,— большей частью говорили женщины.

Еще они спрашивали, где теперь живет Вася, и, узнав, что в Москве, удивлялись. «А работаешь-то кем?» Но этот вопрос оставался без ответа. Муж отшучивался.

К дяде Василию, в дом, перед которым стоял высоченный тополь, мы попали к утреннему чаепитию. Вернее, это была изба, с перегородкой для кухни. Зато просторные сени, где на столе курлыкал самовар.

Нам обрадовались. Младшее поколение этого домика — а детей у дяди Василия пятеро — давно отпочковалось. Один сын жил в Анжерке, другой был машинистом на станции Тайга. Дочери тоже недалеко, но все семейные, детные — когда им по гостям ездить?

Жена дяди — чернявенькая собою Анна Петровна, мордовка по национальности, — во время чаепития все навевалась в кладовку к бочке с медом. Вазочка под мед оказалась маленькой, и дядя Василий, видя, как нравится племяннику мед, все посылал жену с вазочкой в кладовку. «Подкладывай, Анна Петровна, у нас мед свой, не купленный».

Роста дядя был могучего, спиною прям, голубоглаз, ликом румян, как и положено пасечнику. И лысина у него как у какого-нибудь академика. Это я потому так сравнила, что Василий Наумович отличался велеречивостью, в скороговорки не пускался, а племянника все навеличивал: «Да понимаете, Василий Дмитриевич...» И расспрашивал о жизни в Москве. И сам о себе рассказывал, как однажды, в Томске оказавшись, в оперу сходил. Так вот: ходим ли мы в Москве «на оперы»?

— Да некогда нам, дядя! Учились. Диплом защищали. А теперь книжки писать надо.

— Выходит, трудное это дело?

— Не легкое. Я вот когда хлеб сеял да убирал

то и позднее, когда жил в Новосибирске у сестры, обучаясь в авиационном техникуме, стыдился перед матерью и сестрою своего призвания. В новосибирской квартире в ванной комнате — как ванная она бездействовала — стояла бочка из-под квашеной капусты. Капусту квасили в другой, а в эту поэт, слагавший стихи по ночам на кухне, — в эту бочку он их складывал... «До лучших времен», — объяснил он сестре.

Сидя на берегу среди желтых одуванчиков, я с завистью смотрела, как переплыл Вася на другую, луговую, сторону озера, ходил там по ковру незабудок. Сорвав несколько цветочков, переплыл обратно и вручил их мне. А не купалась я потому, что дно озера показалось мне вязким, да и кувшинок у берега много росло — сразу не поплывешь, за ноги цепляться станут. Я выросла на озере, где купанье было отличным. Но до моего родного села надо было бы ехать более суток обратно на запад — до Тюмени. И там еще семьдесят километров в сторону...

— Ну, как тебе Марьевка? — спросил Василий, одеваясь.

— Мое село, конечно, лучше. Фабричное село. И фабрика писчебумажная, что уже говорит о культуре.

— Культуру в родное село самим привносить надо, не надеясь на писчебумажные фабрики! — отпарировал он. — Как же ты не оценила место расположения Марьевки? Я же об этом стихи написал — о переселенцах из России.

*Дед взошел на Марьевские кручи,
Он сказал: «Судьба!» —
Да так и стало.*

Когда шли к дяде Василию, навстречу нам попадались многие марьевцы и муж мой всех узнавал, здоровался и представлял меня.

— Вот и славно, что привез, а без жены на родину ездить не дело. Пусть привыкает,— большей частью говорили женщины.

Еще они спрашивали, где теперь живет Вася, и, узнав, что в Москве, удивлялись. «А работаешь-то кем?» Но этот вопрос оставался без ответа. Муж отшучивался.

К дяде Василию, в дом, перед которым стоял высоченный тополь, мы попали к утреннему чаепитию. Вернее, это была изба, с перегородкой для кухни. Зато просторные сени, где на столе курлыкал самовар.

Нам обрадовались. Младшее поколение этого домика — а детей у дяди Василия пятеро — давно отпочковалось. Один сын жил в Анжерке, другой был машинистом на станции Тайга. Дочери тоже недалеко, но все семейные, детные — когда им по гостям ездить?

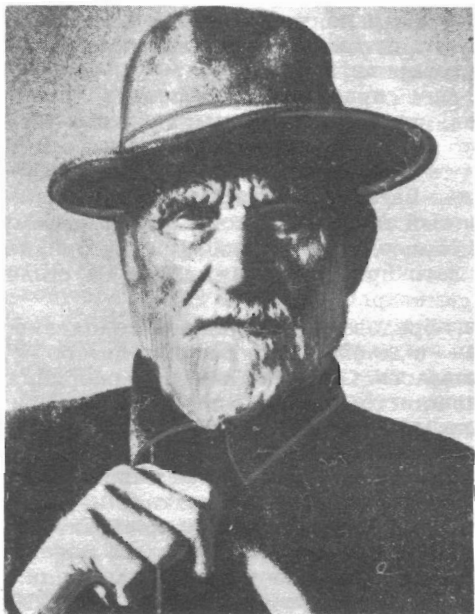
Жена дяди — чернявенькая собою Анна Петровна, мордовка по национальности,— во время чаепития все наведывалась в кладовку к бочке с медом. Вазочка под мед оказалась маленькой, и дядя Василий, видя, как нравится племяннику мед, все посылал жену с вазочкой в кладовку. «Подкладывай, Анна Петровна, у нас мед свой, не купленный».

Роста дядя был могучего, спиною прям, голубоглаз, ликом румян, как и положено пасечнику. И лысина у него как у какого-нибудь академика. Это я потому так сравнила, что Василий Наумович отличался велеречивостью, в скороговорки не пускался, а племянника все навеличивал: «Да понимаете, Василий Дмитриевич...» И расспрашивал о жизни в Москве. И сам о себе рассказывал, как однажды, в Томске оказавшись, в оперу сходил. Так вот: ходим ли мы в Москве «на оперы»?

— Да некогда нам, дядя! Учились. Диплом защищали. А теперь книжки писать надо.

— Выходит, трудное это дело?

— Не легкое. Я вот когда хлеб сеял да убирал



*Василий Наумович Кириллов, глядя поэта
со стороны матери.*

его, мне казалось, что труднее этого дела нету. Теперь я так не думаю. Всякий труд, если его делать хорошо, не легок. Но и выше удовольствия нету, как им овладеешь.

— Оно, конечно, Василий Дмитриевич. Вот хоть и пасеку взять... Тонкий подход к пчеле нужен. А главное — понять ее, пчелку.

Спать нам предложили на сеновале. Не жарко, и мухи не донимают. Но в изголовье у нас оказалось гнездо, куры садились в него по очереди и, снеся яичко, принимались кудахтать прямо над



Ульяна Наумовна Федорова, мать поэта.
1937 г.

моей головою. И тут же по лестнице вспрыгивал на сеновал горластый петух огненной масти, и какой уж тут сон! Что же: значит, пора идти к реке, на луга. Мы ведь за этим и приехали!

В тот наш приезд, совпавший с прекрасной погодой, обилием ягод, за которыми мы ходили в поля, с походами на речку — на ее золотые плесы, поэт написал три стихотворения: «Я обманул однажды коршуна...», «Я не люблю немые реки...» и «Забытую дорогу». И поскольку беседы с дядей Василием всегда касались федоровско-кирилловских родовых корней (моя свекровь до замужества носила фамилию Кириллова), то вспомнили и несчастливую любовь деда Харитона к солдатке Глаше... Василий Наумович, сам не без греха по



Семья Федорова перед войной. Слева: Василий, сестра Татьяна, старший брат Иван; стоят: брат Иннокентий и жена Ивана — Люмила.

части ухаживаний, к этой истории был особенно участлив: вот, дескать, у отца твоего, Дмитрия, каков орел папаша был... Анна Петровна, наоборот, слушая эту историю, хмурилась и вздыхала. Подозреваемая ею соперница жила как раз через дорогу...

Искра к созданию поэмы «Золотая жила» была брошена. И странно, что поэма опередила выход другой, давно задуманной поэмы — уже на новосибирском материале — о революционерке Дусе Ковальчук...

Поэта сразу потянуло к столу, к работе. Теперь он не расставался с записной книжкой, куда бы мы ни шли... После того, как он сводил меня за ягодами на бывший Федоровский покос, шевельнулся замысел стихотворения «Муза»...

В тот наш приезд мне больше всех понравилась младшая дочь Василия Наумовича — Мария. Она была замужем за фронтовиком из деревни Арышево и носила теперь такую же фамилию — Арышева. Помню: накоротке заглянула как-то в родительский дом — высокая, худощавая, вся порывистая, как ветерок, темноглазая, как мать, а статью в отца, и пригласила нас к себе в гости:

— Не придете — обижусь!

До Арышева от Марьевки всего два километра. Тоже при речке Яя дерезенька. И луга есть. И заросли смородины на них, да шиповника, да хмеля. И так же, как в Марьевке, имели некоторые арышевцы пасеки, и пчелки пожужживали прямо на улице возле палисадников. Приволье.

А Мария с мужем да тремя ребятишками в тесноте живет: за капитальной стеной свекор со свекрухой.



Двоюродная сестра поэта М. В. Арышева у своего дома, в котором часто он бывал. 1985 г.

— Мечта моя — в Марьевку всей семьей перебраться, — сказала нам на прощание Мария.

Когда через несколько лет Василий Наумович неожиданно овдовел, семья Петра и Марии Арышевых так и сделала: переехали в Марьевку, но уже в другой дом Василия Наумовича — побольше, поновее, не на задах, а на главной улице, ныне названной именем поэта...

Мы с мужем очень любили Марию, ее мужа — фронтовика-десантника Петра Михайловича, их детей — Галю, Наташу и племянника Васю. В Марьевку мы стали ездить потом часто, и дети Марии, можно сказать, выросли на наших глазах. Двое из них теперь БАМ строят, а третья — Наталья — в Туркмении живет. Все трое семейные, детные. Из тоненькой, девически стройной Мани превратилась Мария в солидную седеющую женщину, такую разумную, что советоваться к ней по житейским вопросам ходят даже мужчины... Фронтовик-десантник, один из героев моей повести «Во днях Марии» — лет пять тому назад умер.

Может, потому, что сразу прикипела я душою к двоюродной сестре мужа, выделив ее среди других славных женщин Марьевки, не воспротивилась я в один из приездов на родину мужа против идеи постройки собственного дома...

Марьевка и Мария Арышева входили в меня постепенно и прочно. Да и не могла я противиться все возрастающему стремлению Василия как можно основательнее и дольше жить в Марьевке. Это было потребностью его души и натуры.

Но прежде чем рассказать о возникновении дома на Назаркиной горе, должна я сделать некоторое отступление — в ту нашу московскую жизнь сразу после окончания Литературного института.

Сначала мы жили в семиметровой комнате в переулке Садовских. Потом в том же переулке, но в соседнем доме — на тринадцати метрах. Даль-

нейшего расширения жилплощади не предвиделось. В те годы жилья в Москве строилось мало. Оставалось одно: податься за город, в деревню. Тут как бы сразу два зайца: жилье и непридуманные герои.

Такое жилье было найдено. За сто километров от Москвы, в деревне Заднее Поле. Прожили мы там семь лет. Но сто километров, да еще с поклажей — дело не легкое. Устали оба. И сколь ни жалко было посаженного нами сада, переехали к Москве поближе — на хутор Гаврилов. Место красивое, лесное. Но без реки... А у нас у обоих в глазах Марьевка, речка Яя, озеро Кайдор, марьевские луга с ярко-желтыми цветами под названием огоньки, с целыми полянами незабудок и полевых гвоздик...

За время наших переездов с квартиры на квартиру, а также во Владимирской области, в Подмосковье Василием Дмитриевичем уже были написаны почти все его поэмы. Все, за исключением главной — «Женитьбы Дон-Жуана». Эта ироническая поэма, названная так не по прихоти поэта, а по своему замыслу, требовала особого уединения, я бы сказала: дальности расстояния от Москвы с ее магнитным притяжением. Тут не столько соблазны, сколько множество друзей-приятелей, а также и общественные обязанности поэта. Каждый писательский съезд он избирался секретарем правления Союза писателей РСФСР. Он был также членом редсоветов трех главных московских издательств — «Гослитиздата», «Современника» и «Советской России». Привлекли его и к участию в присуждении премий имени А. М. Горького. Как секретарь правления он курировал поэзию, и ему время от времени поручали делать на съездах или в памятные юбилейные даты обстоятельные доклады как об общем состоянии советской поэзии, так и по отдельным поэтам-классикам.

Все это часто отрывало его от письменного стола на хуторе Гаврилов, и Василий Дмитриевич

все чаще и чаще подумывал, куда бы ему можно было «спрятаться» не на недельку, а, скажем, сразу месяца на три. В летние месяцы общественная работа обычно затихала, особенно в правлении Союза писателей.

В 1970 году мы опять оказались в гостях у дяди Василия. К тому времени Василий имел уже несколько напечатанных произведений. И хорошую двухкомнатную квартиру мы уже имели. Жилищной стесненности не чувствовали. Все вроде бы хорошо, и все-таки... Марьевка! Звала она к себе поэта, снилась ночами. Когда начиналась весна, Василий Дмитриевич, глядя на плывущие льдины Москвы-реки, говорил: «А в Марьевке сейчас речка Яя до самого Кайдора разлилась. Самая красивая пора. А как вода схлынет, подсохнет чуть-чуть, и черемуха по лугам зацветет. Знаешь, какой аромат в деревню доносит?» Это все к тому, что собирайся, мол, в дорогу...

— Выбери сам: или на разлив ехать, или на колбу.

— Хорошо бы на то и другое...

— Четыре месяца на сеновале у дяди Василия? — спросила я, охлаждая его пыл. — Ты ведь потом и на ягоды захочешь остаться и даже на уборочную...

— На уборочную пору и совсем бы хорошо...

— Зачем говорить о том, что нереально?

Василий Дмитриевич умолкал, сраженный железной логикой. Во-первых, действительно, нельзя претендовать на сеновал в течение столь длительного времени. В Сибири погода меняется резко и неожиданней, чем в мягком Подмоскowie. Во-вторых, если тебя избрали на высокие общественные посты, то от силы можно отсутствовать месяца два, два с половиной, не больше...

Тот приезд стал особенно памятен. Директором совхоза в ту пору был молодой решительный человек по фамилии Салехов. Повез он нас на «архиерейскую» уху в пойму Яя, где луга особен-

но пышны. К веселой поездке подключился и парторг с женою, и кто-то еще из местного начальства. Над костром в ведерке булькало сначала мясо, потом туда же бросили килограмма два свежей рыбы, изловленной где-то у плотины в райцентре... В первый раз в жизни ели мы такую уху — под названием «архиерейская». Ну и, конечно, рыбка посуху не ходит. Тут уж мы не оплошали, прихватили.

Разнежились, конечно, все. А не скошенный дуг был особенно красив от множества цветов. Хватало тут работы марьевским пчелам. Сидящим возле костра прочел поэт свои стихи о марьевской музе, которая явилась ему, мальчишке, как предсказательница судьбы.

*Брела и землянику мяла
Она подошвами босыми...*

А заканчивались стихи так:

*Все это было за Удою,
У старой деговой избушки.*

Выпили за музу еще по чарочке-другой, и вдруг Салехов говорит:

— Хороший вы поэт, Василий Дмитриевич, душевный. И, чувствуется, любите родную землю. Давайте мы вам здесь дом поставим, живите себе на здоровье...

— Если за мой счет, то я готов.

— Да какие у вас, поэтов, деньги. Совхоз-то побогаче будет. Ну, а если уедете и не понадобится он вам больше, так ведь в карман его с собою не возьмете. Совхозу тогда и останется.

— Только за мой счет! — отрезал поэт. — Я наших марьевцев знаю. Разговоров не оберешься. Да и ошиблись вы насчет денег. Меня теперь уже печатают, значит, и деньги на дом найдутся. Ты как на это смотришь? — обратился он ко мне. А

у меня в голове то ли жужжание пчелок слышится, то ли выпитая чарочка пошумливает. А что,— говорю,— давай, построим. Да и воздух лугов такой пьянящий! И речка с перекатами, да с такими пляжами, что твоя Евпатория...

— Ну, а где вам этот дом ставить? — спрашивает директор.— Может, в Кильдиме, поближе к конторе, к столовой...

А Кильдимом марьевцы прозвали так называемые «Черемушки» на сельский лад. Там и здание почты, и магазин, и библиотека, и школа, и интернат... Но слово «Кильдим» выражало особое отношение коренных марьевцев к некрасивым казенным постройкам, к вечно не просыхающим лужам и тем «перекати-поле», которые как-то сезонно вселялись в «кильдимские» квартиры с «удобствами» во дворе... Рабочей силы в Марьевке всегда недоставало. Особенно в уборочную пору.

— Нет, с Кильдимом вы уж сами разбирайтесь... Я там не жилец. А вот на Назаркиной горе поставьте...

Салехов вопросительно поднял брови. Да и парторг, как все марьевские парторги, из приезжих, тоже не слышал такого названия.

— А где это?

— Да вон перед вами! Пустая гора. Там когда-то мой родственник Назар жил... Я его в «Золотой жиле» увековечил, есть у меня такая поэма... А под горою Кайдор...

— Кто под горою? — опять спрашивают недоумевающие директор и парторг.

— Озеро Кайдор. Это я его так назвал. По моему, красивее, чем «Кильдим»... Но, признаю, нагрузка в «Кильдиме» точная. Наши марьевцы зря словами не бросаются...

Было предложено вот сейчас и поехать туда — на Назаркину гору и вбить в нее первый кольшек...

Погрузили мы в два «газика» тарелки с ложками, ведро из-под «архиерейской» ухи, брезент,

на котором сидели, и покатали смотреть «строительную площадку»... С лугов до нее семь минут езды.

А гора-то сплошь полынью заросла! А у полыни в вечерний золотой час запах особый — как у дорогих духов, что с горчинкой... А уж вид с горы такой открылся, что каждый из нас на какое-то мгновение почувствовал себя художником.

— Н-да, товарищ поэт, не промахнулся ты с выбором места на земле! — вырвалось у директора совхоза.— А мы тут, как слепые, мимо ездили, нам и в голову не пришло, какой божий дар тут пропадает... Тот же клуб можно бы поставить, чтобы со всех сторон его видеть было...

— Здесь, говорят старики, перед революцией церковь замышлялась. Это мне мама рассказывала,— сказал Василий Дмитриевич.— Ну, а я безбожник, коммунист — пусть уж меня гора потерпит...

А у меня в душе сомнение с восторгом берет. Сомнение в том, что дом будет стоять как бы на отшибе от добрых людей, а тут ведь, случается, и бродяги ходят, «бичи» там всякие... Стройка тоже пугала. Характер мужа я знала: сам к себе строгий, он не терпел «тяп-ляповой» работы у других. Вдруг да такие строители и попадутся. Тогда конфликт с ними будущего хозяина неизбежен. Знала я и о том, что стройку непременно затянут. Но того, что директор уже «висит на волоске» и вот-вот его снимут, не предполагала. За что же его снимать — такого молодого и такого симпатичного?! Его преемник оказался таким же молодым и симпатичным и с таким же горячим желанием поставить поэту дом на Назаркиной горе. Директору Меньшикову мы и перевели вскоре три тысячи рублей и стали ждать сообщений: дескать, приезжайте, вселяйтесь!

Увы, увы... Стройка длилась два года. Смотреть, как идет дело, ездили и сам муж, и его

младший брат Иннокентий, и наш сын Игорь... И все они твердили одно: «Вид с горы — лучше не надо!»

— Ну, а дом-то, дом-то как подвигается? — спрашивала я.

— А дом никак не подвигается. Кто-то запил, кто-то проворовался. Надо ехать судиться, а вот с кем — это еще не ясно. С каким-то Чапаем...

А Чапай, как потом выяснилось, — родной брат мужа Марии Арышевой. Но если наш свояк — воплощение порядочности, то братец его, ныне уже покойный, повадками смахивал на Остапа Бендера. А марьевцы его Чапаем прозвали — видеть, за смелость действий...

Долго ли, коротко ли, как говорят в сказках, а все же вырос дом на горе. И заблестал шиферной крышей. И шестью окнами — в круговую. Так что солнце в нашем доме гостило с утра до вечера. И печку русскую Иван Павлович — местный виртуоз печного дела — так сложил, что выглядела она как замок Бродди — влезть и погреться на ней было невозможно — с бортовкой была, как у крепостной стены, но в этой бортовке были скрыты хитроумные дымоходы для обогрева тех комнат, где печки не было...

Дядя Василий дом одобрил. Чапая ругнул. Вид с горы похвалил. С полынью посоветовал немедленно расправиться, выдернув каждое растеньице с корнем. А потом часть горы вспахать велел, проборонить и цветами засеять — для пчел...

Так мы и сделали. И, боже мой, какая отрада для глаз разлилась в июне на нашей горе. Мавританский газон изобиловал цветами всех названий. К нам на усадьбу приходили марьевцы поахать и поудивляться. И почему-то сразу окрестили Назаркину гору «Дачей»...

— Какая дача? — сердился поэт. — Это дом для работы. Мне бы вот только большим письменным столом разжиться... Цветочки — это для начала. Потом я здесь деревьев насажу — всяких!



Л. Ф. Федорова. Марьевка, 1978 г.

Узнав о его намерениях, сестра Зинаида Дмитриевна прислала нам из Хабаровска, с берегов Амура, амурский орех, амурские клены, ясени, карагач... Горноалтайская станция плодопитомника выслала облепиху, черноплодную рябину. Но какая же гора без березок, без акаций, черемухи и, конечно, боярки! Позднее появились саженцы калины, рябины. Это уж марьевские школьники старались. И только кедры — любимое дерево поэта — несколько раз погибали, не вынося высокого места, подвластного ветрам, ко-

торые сдували с горы весь снег... Дубки — размером в ладонь — тоже долго растущее «задумчивое» дерево. Лиственница — та хоть и спорила с ветрами, хоть и стала расти наклонясь, но все же радовала нас своими мягкими лапками. Да, наша гора похорошела. Как необъезженный конь, поняв, что седок упорен и настойчив, Назаркина гора смирилась и утвердила за нами права хозяев. Мы прожили на ней пятнадцать лет. Жили по три месяца в году. Много это или мало? Много, если знать, что три эти месяца были до краев наполнены работой поэта. Мало, если соотнести три месяца и остальные девять месяцев года, принадлежащие Москве. Но марьевский заряд, я это утверждаю с чистой совестью, давал работу мысли в остальные девять месяцев года. Дописывать начатое в Марьевке или только задуманное там — на просторах сибирских — он ездил в дома творчества, чаще всего в ближнее Переделкино или, сочетая отдых с работой, — в Гагру.

За время жизни в Марьевке мы приобрели в Кузбассе очень много добрых и верных друзей. Поэты и писатели приезжали к нам иногда целыми автобусами из Кемерово. Секретари Яйского райкома партии — Анатолий Ананьевич Пицкин, Николай Андреевич Отроков, Владимир Иванович Иваньков, директора шахт из Анжерки, работники райисполкома, егерь Миша Арышев — пламенный защитник фауны Яйской земли, учителя Марьевской школы, библиотекари... И особенно добрые наши покровители из Кемеровского обкома партии, особенно П. М. Дорофеев, тогдашний секретарь по идеологии, — все, все делали нашу жизнь на Назаркиной горе более или менее разнообразной, давали нам понять, что Назаркина гора — это не забытый ими островок и что мы тут, хотя и предаемся творческому труду, все-таки не отшельники! Нас часто приглашали на учительские конференции, на выступления в Анжерку, в пионерлагеря и конечно же на выпускные вечера Марьевской десятилетки. И праздник бо-

розды порой тоже не обходился без нашего участия.

Иногда к нашей горе подкатывали автобусы Кемеровского телевидения... Василий Дмитриевич всегда ответственно относился к своим публичным выступлениям, нервничал и по возможности отказывался. А телевидение его просто выводило из равновесия. В таких случаях он старался «натравить» работников телевидения на самих марьевцев: дескать, лучше с ними побеседуйте, они все проблемы знают... «Вот с маминой подружкой побеседуйте — с Пелагеей Ивановной... Или с Катей Авсиевич, она вам и частушки споет, и стихи, ею написанные, прочитает... Парторг у нас сейчас отличный — бывший моряк Николай Карлович Поддубный».

Из кемеровских поэтов очень любил Евгения Буравлева, Виктора Баянова, Валентина Махалова. Не знаю, сохранилась ли на Кемеровском радио запись беседы* его о поэзии с В. Махаловым у изгороди над обрывом, под которым продолговатым синим глазом светился Кайдор... Дело было под осень, у нас уже и стожок сена красовался на горе, и на крестообразных жердинах стожка уселась, громко каркая, ворона. Один из работников радио решил ее прогнать, ведь она мешала записи.

Поэт, беседующий с поэтом Валентином Махаловым, тут же услышал окрик на ворону.

— Не троньте ее, это моя ворона!

— Но, Василий Дмитриевич, она нам мешает.

— Это вы ей мешаете. Она тут живет. Каждая птица на нашей горе священна!

Ну, посмеялись, конечно, потом над этим заступничеством.

Да, он очень любил животных, зверей и птиц. Купленное им на тульском оружейном заводе великолепное охотничье ружье выстрелило толь-

* Фрагменты беседы читайте на стр. 228—232.

ко один раз... Это было вечером накануне нашего отъезда из Марьевки. Прежде чем зачехлить ружье и отнести его на сохранение к сестре Марии, мой муж таинственно позвал меня выйти из дома...

— Пойдем, покажу, как оно стреляет.

— А в кого ты будешь стрелять? — испугалась я.

— Увидишь, увидишь... Только очки надень, а то еще не рассмотришь.

Это он насчет моей близорукости. Ну, ладно, надела я очки, смотрю: идет он с ружьем наизготовку к изгороди. А уже вечерело, и озеро внизу такое тихое — как огромное зеркало. И лягушки внизу квакали.

Прицелился он в это зеркало да как бабахнет!

— Видела? — спрашивает. — Сколько ряби на озере было? Это дробины попали. Если б выводок уток сидел — ни одна бы не уцелела!

Рассказала я об этом Марии Васильевне, и долго мы с нею смеялись над незадачливым охотником.

— Зачем ружье-то покупал?

— Так Лара боялась на горе жить. А я ей сказал: не бойся, самое меткое на заводе выберу. Кто же ее защищать должен, если не я?!

Да, жизнь в Марьевке — это светлое время нашего творческого труда, наблюдений и, я бы сказала, душевного единения с жизнью марьевцев. Это мы знали, что нам надо работать, всматриваться в каждую судьбу. А марьевцы, видя наш простой образ жизни, скоро совсем забыли о том, что мы писатели. Вот этого мы и хотели! Ничем от них не розниться, не выделяться. Я никогда не брала с собою в Марьевку никаких нарядов. А Василий Дмитриевич вообще не был франтом. Кепочка, юнгштурмовка, чтобы не продувало при поездке на мотоцикле «Урал». Галстук только при поездке в райцентр Яю.

Марьевцы к нам приходили часто. Особенно в первые дни приезда. То, смотришь, Катя Авсие-

Ты мне
 скажи,
 почему
 я живу
 по-прежнему
 в твоем
 доме?

Уведи и раба
 какого-то
 кельды неужелишь,
 с гонимым
 всем далеким расстоянием,
 всего колесом земли,

Земля, земля
 и нежна земля
 земля? Да
 да не огнем
 земля, земля
 и всегда земля,
 земля земля
 земля

бы скажи
 почему впрямую,
 зачем речью оном,
 чтоб стало мне
 как ты и ты
 давай
 давай
 давай

Автограф стихотворения В. Д. Федорова с посвящением жене. Марьевка. 3 августа 1972 г.

вич — женщина в годах, а фигура, как у балерины Улановой, — с цветочным горшком идет: «Вот тебе, Ларисонька, герань на подоконничек», то Екатерина Яковлевна Кондерская — рамочку сот для поэта приберегла. Муж-то ее, Александр Фадеев

вич, на деревне первый пасечник. Это его пчелки над нашим мавританским газоном гудом гудели все лето!

А то с другого конца деревни Акулина Борисовна Федорова, наша однофамилица, деревенских яичек в кошелке несет да первых огурчиков... «Еще, поди, и в магазин не успели наведаться, так вот вам гостинчиков».

Ну и мы, конечно, не без гостинцев к марьевцам являлись. Особенно для соседской детворы. Однако носить к нам огромные букеты цветов мы в два голоса запретили: для встречи гостей вполне довольно два-три цветочка.

Марьевцы — народ яркий, колоритный. Чем больше я вслушивалась в их речь, тем яснее мне становилось, что поэт Василий Федоров, имея задатки таланта, рос на благодатной почве. Щедрость природы и людей, обитавших на этой земле, сотворили большого поэта.

Исполать тебе, Марьевка!

Февраль 1985, Москва